

Батюшковская Москва

П. Г. Паламарчук,
писатель

Тема Москвы, где Батюшков, говоря его собственной строкой, «дышал свободой прямою», нашла в стихах, прозе и письмах тройственное воплощение, вершинами которого считаются очерк «Прогулка по Москве» и послание «К Дашкову». Возможно, что поэт побывал здесь еще в раннем отрочестве; но решительно Москва вошла в его судьбу на рождество 1809 года, когда из вологодской деревни он приехал ко вдове своего двоюродного дяди и наставника Михаила Никитича Муравьева — Екатерине Федоровне, урожденной баронессе Колокольцевой. Ей Муравьев завещал перед смертью попечение о своем воспитаннике, и она действительно не оставляла забот о младшем родиче на протяжении всей жизни — недаром сам он называл ее «мое Провидение». Еще перед выездом из Вологды петербургскому приятелю Н. И. Гнедичу посылается уверенный совет: «...адресуй в Москву на имя К. Ф. Муравьева, Батюшкову, в Арбатской части, на Никитской улице, в приходе Георгия на Всполье № 237» (нынешний адрес этого владения — ул. Герцена, 56, почти напротив Дома литераторов). С гостеприимного дома тетки, не сохранившегося, к сожалению, до нашей поры, и начиналось непосредственное знакомство Константина Николаевича с «первопрестольной».

Она также постепенно узнавала пришельца поближе — уже в 1809—1810 гг. в московском «Вестнике Европы» появляются первые произведения Батюшкова:

*О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...*

Не случайно эти слова сначала произнесены были в Москве — сердце и средоточии России и потому сопрягаются в уме русского читателя с концовкой известной «Москвы» современника Батюшкова Федора Глинки:

*Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!*

Впрочем, столиц тогда было в государстве две, однако Петербург, продолжая уподобление, вряд ли можно назвать вторым его сердцем; скорее уж он был гла-

вой, холодной главой, вознесенной над северными землями и водами. Но вот что удивительно: несмотря на то что Константин Николаевич воспитывался там в отрочестве в 1797—1802 гг., служил в министерской канцелярии в 1802—1807 гг., работал в императорской библиотеке в 1812 году и впоследствии нередко посещал город вплоть до 1823 года, — тема Петербурга в его творчестве не сложилась. Всего лишь пять случайных упоминаний в стихах и несколько страниц, предваряющих очерк «Прогулка в Академию художеств», — таков ее чрезвычайно краткий итог. Сама «Прогулка...» — имеющая, кстати, форму письма «старого московского жителя к приятелю» — открывается сожалением о старой Москве, о «счастливом, невозвратном времени», проведенном в ней незадолго перед тем, как «пожар поглотил» вместе с прочим и «убежище» искусств, созданное двумя друзьями. Да и во второй, собственно «академической» части ее автор среди строгого разбора выставленных картин выделяет «московские виды» Ф. Я. Алексеева, вызывающие у него следующие слова: «Какие воспоминания для московского жителя! Рассматривая живопись, я погрузился в сладостное мечтание, и готов бы воскликнуть... моим товарищам:

Что матушки Москвы и краше и милее?»

...В начале 1812 года Батюшкову удается выхлопотать в Петербурге должность — место «помощника хранителя манускриптов» императорской библиотеки. В апреле Константин Николаевич, едва успев обосноваться на новоселье, пишет Жуковскому с огорчением: «Брега Невы во сто раз скучнее наших московских»; и это воспоминание, быть может, наводит его на мысль закончить, наконец, описание московских видов, обычаев и нравов, начатое два года назад, — во всяком случае, судя по некоторым зацепкам, косвенно извлекаемым из текста очерка, завершен он был не ранее весны 1812 года. Судьба — не та, которой тщетно искал Батюшков в «дипломатике», а настоящая, подлинная его трагическая Фортуна — ненадолго сжалилась над ним и вместе над поколениями потомков, для которых вдохновенное слово

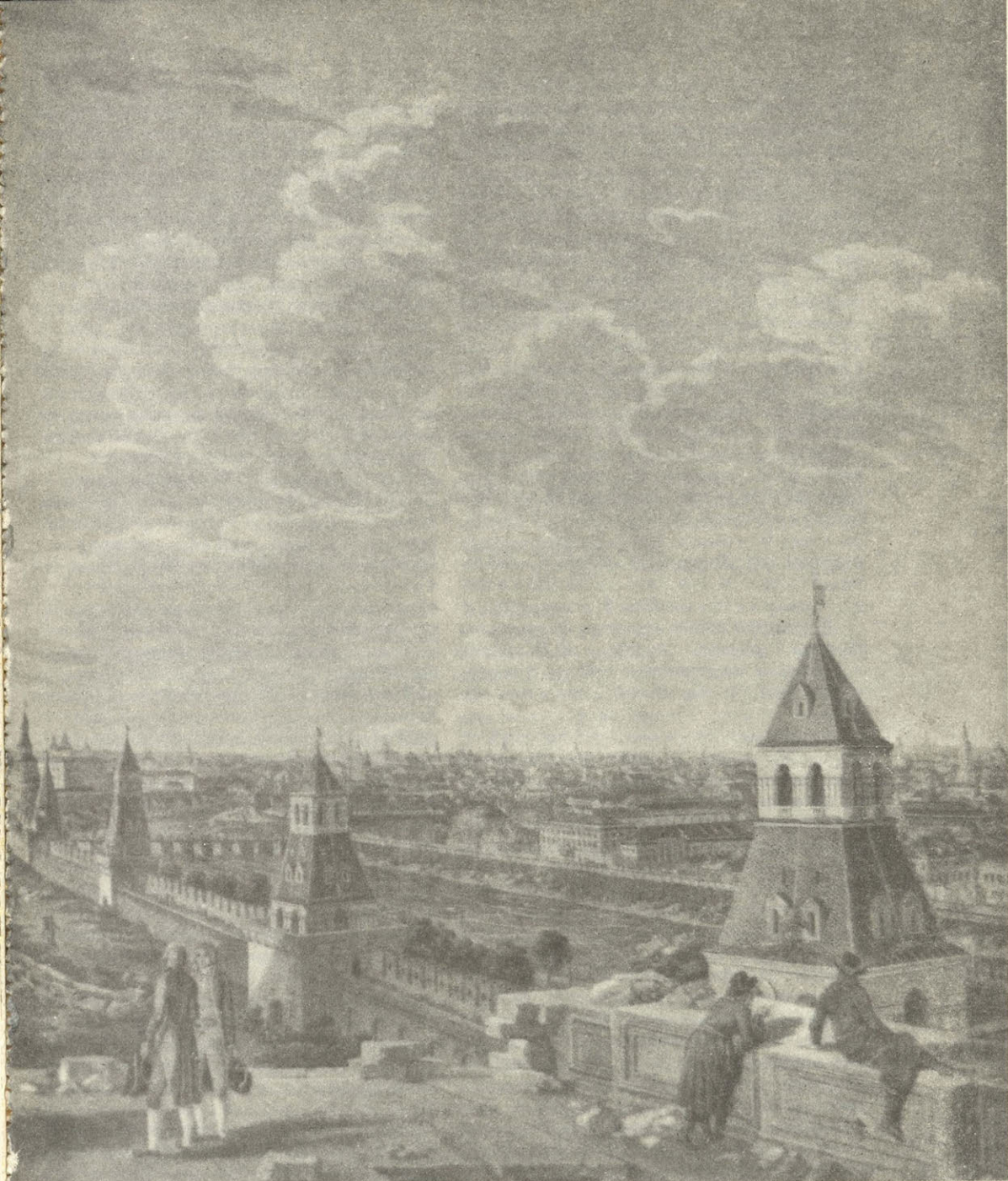


Делабарт.
Вид на Москву
с балкона
императорского
дворца.
Гравюра
с оригинала.
1799

очевидца-поэта, будто отблеск вечерней зари, запечатлело облик старой, «допожарной» Москвы на самом краю разрушения.

Однако протекшие годы переставили многие ударения в батюшковском описании — сам заголовок «Прогулка по Москве», хотя и довольно удачный, был дан лишь посмертно при публикации Петром Ивановичем Бартевым, в оригинале он отсутствует, — и теперь, с более чем полуторавекового расстояния читателя более всего привлекают не сатирические картинки, но черты величия,

славы древних веков, неповторимой красоты русской столицы, сохраненные для нас рукою и даром Батюшкова. Впрочем, даже острота критики заметно притупляется временем, и на недостатки и чудачества предков далекие потомки готовы глядеть скорее с добродушной улыбкой, нежели с осуждением. «Прогулка по Москве», таким образом, навсегда остается и в русской словесности, и в русской истории, и в русской душе замечательно живым портретом нашего главного города до наполеоновского разорения, в ряд с которым позже встали по-



реформенная Москва Ивана Шмелева и Москва начала века Бориса Зайцева.

Это культурологическое и историко-софское значение очерка было оценено уже вскоре после первого появления его в печати в «Русском Архиве» за 1869 год. Вот что говорил о нем в конце XIX столетия известный исследователь академик А. Пыпин: «Москва того времени была, без сомнения, очень оригинальна. Зброшенная столица, она сохраняла, однако, разнообразное значение старинного центрального города, гораздо больше бо-

гатого тогда, чем теперь, памятниками, обычаями и преданиями старины...»

Москва и в новой империи осталась старым топографическим центром, который гораздо ближе был к средним губерниям, составлявшим производительный центр России и владевшим наиболее многолюдным помещичьим населением. Словом, Москва, больше, чем какой-нибудь другой город, совмещала в себе все разнообразие бытовых форм допетровских и послепетровских: старинные нравы, верные Домострою, и новейшее образование на французский лад, всю пе-

строту жизни, выведенной из прежнего однообразного покоя и не установившейся в новом бытовом укладе. Двенадцатый год унес безвозвратно многое из этой старой Москвы и, можно сказать, вместе с этим унес многое из целого русского быта: погибло много памятников старины, много старых обычаев, которые уже не возвратились в Москву, заново построенную и заново населенную... Эту именно Москву и описывал Батюшков в статье «Прогулка по Москве».

Замысел «Прогулки...» получил как бы посмертное благословение Михаила Никитича Муравьева, наставника молодости поэта: как раз в 1810 году — время первого приезда Батюшкова в Москву — здесь были изданы под редакцией Карамзина две части сочинений М. Н. Муравьева, в число которых вошел примечательный отрывок, почти стихотворение в прозе под названием «Древняя столица». Он задает тон батюшковскому очерку, служит ему и основой, и корнем.

Батюшков тоже начинает с описания Кремля, сделав, правда, в качестве вступления кажущуюся сперва немного кокетливой, а на самом деле, как мы увидим вскоре, вполне искреннюю оговорку о том, что вообще-то исчерпывающее «описание Москвы» является для него вещью «совершенно невозможной» не из-за одной лени, но и потому еще, что он «не в силах за неимением достаточных сведений исторических... ибо здесь на всяком шагу мы встречаем памятники веков протекших, но сии памятники безмолвны для невежды, а я притворяюсь ученым не умею».

Вступив в Кремль, пишет Батюшков, «налево мы увидим величественные здания, с блестящими куполами, с высокими башнями, и все это обнесено твердою стеною. Здесь все дышит древностью; все напоминает о царях, о патриархах, о важных происшествиях; здесь каждое место озаменовано печатью веков протекших». Однако история допетровской Руси осталась для него заповедной: ни одного имени или названия нет в этом чрезвычайно общем наброске «сердца Москвы»; единственное, что доступно автору, — как-то определить его через противопоставление с новомодным Кузнецким мостом: там суета, «все в движении», здесь же державный покой и немногочисленность. Покидая кремлевские стены и направившись вслед за течением реки к юго-западу, взор его постепенно оживляется. «Хочешь ли видеть единственную картину? — спрашивает автор друга-читателя. — Когда вечернее солнце во всем великолепии склоняется за Воробьевы горы, то войди в Кремль и сядь на высокую деревянную лестницу. Вся панорама Москвы за رهкою!» Он начинает

«узнавать» сооружения, более ему известные, из коих, по прихотливому выбору времени, лишь первое — мост — не дошло до нас, будучи выстроено заново в тридцатые годы текущего столетия. «Направо Каменный мост, на котором беспрестанно волнуются толпы проходящих; далее — Голицынская больница (ныне в составе I Городской клинической больницы, в средней части владения № 8 по Ленинскому проспекту. — П. П.), прекрасное здание дома гр. Орловой с тенистыми садами (впоследствии Александринский дворец в Нескучном саду, занятый сейчас президентом Академии наук. — П. П.) и, наконец, Васильевский огромный замок, примыкающий к Воробьевым горам («Мамонова дача». — П. П.), которые величественно довершают сию картину, — чудесное смешение зелени с домами, цветущих садов с высокими замками древних бояр; чудесная противоположность видов городских с сельскими видами. Одним словом, здесь представляется взорам картина, достойная величайшей в мире столицы, построенной величайшим народом на приятнейшем месте». Избранная точка зрения была воистину исключительной: отсюда, из середины города, можно было тогда оглядеть его весь вплоть до границ и обступивших со всех сторон лесов, перемежавшихся лугами. И лишь «запечатанность» древнерусской старины для Батюшкова помешала ему — если вечер был выбран действительно ясный — перевесть глаза еще южнее, заметить на горизонте шатер коломенского храма Вознесения: именно к нему с Кремлевского холма (а точнее, от собора Троицы, именуемого «Василием Блаженным») протянулась основная градостроительная ось Москвы, сложившаяся, как установил современный исследователь философских истоков русской градодельческой мысли М. П. Кудрявцев, уже в XVII веке.

И все же любовь к родине пестуется не одними знаниями, даже известного Константину Николаевичу было вполне достаточно, чтобы сделать вывод: «Тот, кто стоя в Кремле и холодными глазами смотрев на исполинские башни, на древние монастыри, на величественное Замоскворечье, не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того (и я скажу это смело) чуждо все великое, ибо он жалостно ограблен природою при самом его рождении». Верное чутье заставляет его вслед за этим произнести хотя и несколько прикрытый из-за предвидившихся цензурных требований, но все же вполне явственный укор другим государствам, которые тогда молча склонили голову перед Наполеоном: он как в воду глядел, перечисляя те самые свя-

тыни, что более всего пострадают от иноземного нашествия, — только чудом не взлетит на воздух весь начиненный порохом Кремль, рухнут наземь три его башни, и начисто выгорит дотла Замошворечье...

А покуда поэт мастерски рисует картину во вкусе излюбленного в его время Гюбера-Робера, певца живописных руин и мирных пейзажей: «Солнце медленно сокрывается за рощами. Взглянем еще на Кремль, которого золотые купола и шпицы колоколен ярко отражают блистание зари вечерней. Шум городской замирает вместе с замирающим днем. Кругом нас все тихо; изредка пройдет человек. Здесь нищий отдыхает на красном крыльце, положив голову на котомку; он отдыхает беспечно у подножия палат царских, не зная даже, кому они некогда принадлежали. Теперь встает и медленно входит в монастырь, где раздастся мрачное пение иноков и где целыми рядами стоят гробы великих князей и царей русских (некогда обитавших в ближних палатах). Печальный образ славы человеческой...»

Красота созерцаемого вида завлекла своего наблюдателя и, превратившись незаметно в красоту, заставила сделать досадный промах — перепутать Архангельский собор (точнее, собор Архангела Михаила), где на самом деле находятся царские захоронения, с недостроенным до нас соборным храмом Чудова («Чуда Архистратига Михаила в Хонех») монастыря.

Но Кремль находился в ту пору как бы в почетной отставке. Средоточием общественной жизни тогдашней Москвы был Тверской бульвар, первый из череды одиннадцати городских бульваров, разбитых на месте разрушившихся стен и срытого вала когда-то могучего Белого города, выстроенного знаменитым градодельцем Федором Конем. Собственно, Тверской бульвар был даже бульвар по преимуществу — его так долгое время и звали просто «бульваром», ибо в определениях нуждались лишь последующие, более молодые. Любопытно, что донные здравствует еще один живой свидетель «добульварных» времен — недавно забранный металлической цепью огромный дуб ростом до двадцати и толщиной около трех метров против дома № 14: ему более двухсот лет от роду и вырос он некогда у городского вала почти за четверть века до его сноса в 1796 году.

Почтенное древо, однако, поневоле немотствует — и для просвещенных любителей прошлого уже в первой трети минувшего века в «Дамском журнале» была напечатана особая «Летопись о Тверском бульваре», составленная языком вполне светским. Укрывшийся под сенью псевдонима летописец, будто ра-

бочий сцены, расставляет декорации для того представления людских типов, которое покажет в своем очерке поэт:

«До 1795 года около Тверского бульвара не хорошо было ни ходить, ни ездить к стороне Козьего болота; местами грязь стаивала по колена, а инде, и посреди самого сухого лета, земля тряслась под ногами, — начинает неведомый автор повесть о создании прославившегося впоследствии гуляния. — Вал частью уже был срыт; но оставались еще некоторые из его возвышений, на которых ребятишки, угладив несколько площадок, на свободе поигрывали в бабки и в свайку. На травке по отлогостям вала инде привязывали к колям для покормки, из соседних домов, и лошадей и коров, а инде, в праздничное время, на той же траве сживали группами семейства близ живущих мещан, распевали песенки, резвились по-своему...»

Но все возраставшая «людскость» общества не могла мириться с подобным безобразием посреди хоть и второй, а все же столицы, и «Наместник Московский, Князь Прозоровский, кажется, первый решительно приказал срывать все остатки древнего вала, землю его возить и сыпать на тресины...».

Правда, ранее уже существовало одно «публичное гульбище», «однакож его учредил не наместник, а Гвардейцы, в поощрение Невскому Петербургскому, по Москворецкой набережной — под стенами древнего Кремля». Да то ли соседство было чересчур суровым, то ли сырость, доносившаяся с реки, выстуживала нежный пол, или по причине какой-то еще иной доуки — в общем, «гульбище» это не привилось.

Наконец, наступил важный период: «1796 г. Главнокомандующий Москвою, Фельдмаршал Граф Иван Петрович Салтыков... озаботился устройством Тверского бульвара. На нем тогда уже все было очищено, усажены в четыре ряда березки, укатана кое-как главная дорожка и — вот начались первые гулянья по Тверскому валу.

Петр Степанович Балувев открыл новое гульбище на Пресненских прудах (о нем Батюшков тоже поведет речь. — П. П.), и публика, охотница до новости, тотчас обратилась к ним; но вдруг явился некто князь Голицын (Михаил Васильевич) и положил в каждую пятницу (которая и поныне осталась днем бульварным) освещать бульвар на свой счет и приглашать туда музыку. Публика опять обратилась на прежнее любимое гульбище; но в 1812 году наполеонисты, пущенные на смерть в Москву, решились вместе с собою умерщвлять и бульвар, разбили его деревья, а на других вешали без разбора виновных и невинных».

Стоп! Вновь трагическое будущее, сломав правильный порядок изложения, проникло в него не по чину рано, — вернемся пока к довоенным, первым годам XIX столетия. Еще в 1803 году Карамзин поместил в «Вестнике Европы» статью «Записки старого московского жителя», где одним из первых приветствовал образование в городе пресловутой «людовости»: среди наиболее разительных перемен в сем отношении он отмечал появление продавцов роз и ландышей (следственно, имеются и покупатели, ценители их!), а также заведение первых «подмосковных» прежде не отбывавшими летом на природу помещиками. И еще, свидетельствует он, «поезжайте в Воскресенье на Воробьевы горы, к Симонову монастырю, в Сокольники: везде множество гуляющих. Портные и сапожники с женами и детьми рвут цветы на лугах и с букетами возвращаются в город. Мы видели это в чужих землях, а у нас видим только с некоторого времени, и должны радоваться. Еще не так давно я бродил уединенно по живописным окрестностям Москвы и думал с сожалением: «какие места! и никто не наслаждается ими!», а теперь везде нахожу общество!..

Знаете ли, что и самой Московский бульвар (вот как раз образец наименования его без определения, в качестве единственного. — П. П.), каков он ни есть, доказывает успехи нашего вкуса? Вы можете засмеяться, государи мои; но утверждаю смело, что одно просвещение рождает в городах охоту к народным гульбищам, о которых, например, не думают грубые Азиатцы, и которыми славились умные греки. Где граждане любят собираться ежедневно в приятной свободе и смеси разных состояний; где знатные не стыдятся гулять вместе с незнатными, и где одни не мешают другим наслаждаться ясным летним вечером: там уже есть между людьми то щастливое сближение в духе, которое бывает следствием утонченного гражданского образования. Предки наши не имели в Москве гульбища (Карамзин настойчиво подсказывает то русское слово, каким можно бы заменить чужезычное, но не решается выступить в его защиту прямо. — П. П.); даже и мы еще весьма не давно захотели иметь сие удовольствие; но за то очень любим его. Жаль только, что наш бульвар скуп на тень и до крайности щедр на пыль».

Теперь сцена почти подготовлена — и тут появляется со своим читателем сам Батюшков: «...мы выходим на Тверской бульвар, который составляет часть обширного вала. Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города, какова Москва; но стечение народа, прекрас-

ные утра апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований; и франт, и кокетка, и старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу утра с дальних концов Москвы на Тверской бульвар. Какие странные наряды, какие лица!»

Обширные возможности наблюдать людские нравы, доставляемые писателю зрелищем подобного рода, привлекательны до чрезвычайности, и в эпилоге своего очерка он, «спеша воспользоваться прекрасным майским вечером на Пресне», отправляется на второе городское гулянье, упомянутые уже ранее кратко Пресненские пруды.

О том, как оно было заведено в 1808 году, рассказывает в своих «Записках» Ф. Ф. Вигель: «Искусство умело тут из безобразия сотворить красоту. Не совсем прямая, но и широкая аллея, обсаженная густыми кустами деревьев, обвисящая вокруг спокойных и прозрачных вод двух озеровидных прудов; подлые гати заменены каменными плотинами, чрез кои прорвались кипящие шумные водопады; цветники, беседки украсили сие место, которое обнеслось хорошою железною решеткой. Два раза в неделю музыка раздавалась над сими прудами, стар и мал, богат и убог толкались вокруг них».

Пруды давно уже спущены, речка Пресня заключена в трубу, и один только стоящий близ ее старого устья Горбатый мост XVIII века остался во всей округе напоминанием о былом, но и он в последние годы был отреставрирован столь ревностно, что его трудно принять за древность, коли не знать об этом заранее. Тем занимательнее читать описания очевидцев когда-то царившего здесь веселья.

В отличие от предшествовавших ему авторов, Батюшков вновь совсем немного внимания уделяет внешним обстоятельствам: «Пруды украшают город и делают прелестное гуляние. Там собираются те, которые не имеют подмосковных, и гуляют до ночи. Посмотри, как эти мосты и решетки красивы. Жаль, что берега, украшенные столь миловидными домами и зеленым лугом, не довольно широки». «Мосты», «решетки», «берега», «дома» — ни одного имени или особенной черты. Зато как скоро речь заходит о людях, перед нами разворачивается целая многоцветная выставка искусных миниатюрных портретов: «Большое стечение экипажей со всех концов обширного города, певчие и роговая музыка делают сие гульбище одним из приятнейших. Здесь те же люди, что на бульваре, но с большею свободою. Какое множество прелестных женщин!.. Посмотри! Этой малютке четырнадцать лет, и она так невинно улыбается! Но вот

идет красавица: ее все знают под сим названием, теперь она первая по городу. За ней толпа — а муж, спокойно зевая позади, говорит о турецкой войне и о травле медведей. Супруга его уронила перчатку, и молодой человек ее поднял. Жаль, что этого не видел старый болтун N, отставной полковник, который промышляет новостями. Посторонитесь! Посторонитесь! Дайте дорогу куме-болтунье, спорщице, пожилой бригадирше, жарко нарумяненной, набеленной и закутанной в черную мантилью... Какой это чудак, закутанный в шубу, в бархатных сапогах и собольей шапке? За ним идет слуга с термометром. О, это человек, который более полувека, как все простужается! Заметим этих щеголей; они так заняты собою! Один в цветном платочке с букетом цветов, с лорнетом, так нежно улыбается, и в улыбке его виден след труда. Другой молчит, завсегда молчит: он умеет одеваться, ерошить волосы, а говорить не мастер...»

«Заря потухает», — замечает Батюшков в завершение, позабыв, что он один раз уже проводил ее в Кремле; воспользуемся этой оплошностью и вернемся к середине очерка, пропущенной нами в погоне за вереницей ярких сцен на гуляньях.

Обителью суеты, прямой противоположностью полному достоинству покою Кремля представляется автору «Прогулки...» и Кузнецкий мост, где все мельтешит, «все спешит, а куда? — посмотрим».

Эта большая дедовская карета, запряженная шестью чальми тощими клячами, остановилась у двери модной лавки. Вот из нее вылезает пожилая женщина в большом чепце, мадам, конечно, французенка, и три молодые девушки. Они входят в лавку — и мы за ними. «Дайте нам головных уборов, покажите нам эти шляпки, да по христианской совести, госпожа мадам!» И торговка, окинув взорами своих гостей, узнает, что они из степи, продает им лежалую старину вдвое, втрое дороже обыкновенного. Старушка сердится и покупает.

Зайдем оттуда в конфектный магазин, где жид или гасконец Гоа продает мороженое и всякие сласти. Здесь мы видим большое стечение московских франтов в лакированных сапогах, в широких английских фраках, и в очках, и без очков, и растрепанных, и причесанных. Этот, конечно, — англичанин: он, разиня рот, смотрит на восковую куклу. Нет! он русак и родился в Суздале. Ну, так этот — француз: он картавит и говорит с хозяйкой о знакомом ей чревоуещателе, который в прошлом году забавлял весельчаков парижских. Нет, это старый фронт, который не ездил далее Макарья

и, промотав родовое имение, наживает новое картами. Ну, так это — немец, этот бледный высокий мужчина, который вошел с прекрасною дамой? Ошибся! И он русский, а только молодость провел в Германии. По крайней мере жена его иностранка: она насили говорит по-русски. Еще раз ошибся! Она русская, любезный друг, родилась в приходе Неопалимой Купины и кончит жизнь свою на Святой Руси. Отчего же они все хотят прослыть иностранцами, картавят и кривляются? — отчего?.. Я на это буду отвечать после...».

На самом деле удовлетворительного ответа на это волновавшее тогда совесть многих людей вопрошание Батюшкова так и не дал. Да и кому вообще под силу в одиночку разрешить воистину судьбоносное недоумение: образованное сословие великого народа, конечно, вправе позволить себе широко перенимать чужие новшества, за которыми неминуемо увязывается и приبلудная порча, — но докуда, до какого невидимого предела это может быть полезно и не представляет угрозы для самого существования народа, и где та черта, за какую неудобь носимая ноша потянет своего хозяина под гору, клоня в три погибели и подталкивая в пропасть?.. История сама не раз бралась отвечать на вопрос, и в первую очередь в ближайший же 1812 год, но было ли решение окончательным? Десятилетие спустя его вновь подымали декабристы; затем взялись разобрать западники и «славянофилы» (слово, кстати, изобретенное шутики ради именно Батюшковым)... След тянется не только далеко в будущее, но и назад в прошлое, вопрос оказывается вечным, а Москва — его воплощенным символом.

И наконец, общее заключение, в первой своей части поэтически-выразительное, объемное посредством сопряжения полярных черт, хотя и не слишком неожиданное для внимательного читателя, — однако последнее предложение его о своеобразии исторического предназначения Москвы удивляет пронизательностью, близкой к откровению: «Я думаю, что ни один город не имеет ниже малейшего сходства с Москвою. Она являет редкие противоположности в строениях и нравах жителей. Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие, постоянство дедовских времен и ветреность неимоверная, как враждебные стихии, в вечном несогласии, и составляют сие чудное, безобразное, исполинское *целое*, которое мы знаем под общим именем: *Москва*... Москва идет сама собою к образованию, ибо на нее почти никакие обстоятельства влияния не имеют».